

ИВАН  
КОСТЫРЯ  
Ротословное  
зеркало



ИВАН  
КОСТЫР

# Родословное зеркало



ПОВЕСТЬ

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1986

**Костыря И. С.**

**К 72 Родословное зеркало: Повесть.—М.: Советский писатель, 1986.—240 с.**

Новая повесть донецкого писателя Ивана Костыря — о детском враче, для которого чужая боль сильнее собственной. Никогда, наверное, не оставит людей равнодушными эта вечная тема — болезнь ребенка, волнение родителей и их надежда на доктора, вера в его знания и сердечность.

К 4702010200—083 77—86  
083(02)—86

**ББК 84.Р7**

© Издательство «Советский писатель», 1986 г.

*Иван Сергеевич Костыря*  
**РОДОСЛОВНОЕ ЗЕРКАЛО**

М., «Советский писатель», 1986, 240 стр. План выпуска 1986 г. № 77

**Художник А. И. РЕМЕННИК**

Редактор Г. Н. Иванов  
Худож. редактор Е. Ф. Капустин  
Техн. редактор Г. В. Климушкина  
Корректор С. З. Михайлина

ИБ № 5361

Сдано в набор 19.06.85. Подписано к печати 04.02.86. А03337. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 10,92. Тираж 30 000 экз. Заказ № 10608. Цена 75 коп. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Типография издательства «Коммунист», 410002, г. Саратов, ул. Волжская, 28.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Никогда я не отказывался, если меня звали к заболевшим детям, а в тот день, стоя у распахнутой двери перед соседкой, я почему-то не решался сразу же подняться за нею этажом выше.

— А участковый смотрел?

— Участковый? Да какой он врач! — Она покусывала губу, моргала синими глазами. — Извините, конечно. Но ведь правда же.

— Ну, а «Скорая помощь»?

— А там всегда говорят, что они не детские врачи и в детях не понимают.

Своими словами она растравливала мое честолюбие, а я отмалчивался.

— А что, серьезное что-нибудь? Или так?

— Не знаю. Плачет. И мы тоже.

— Температура есть?

— Тридцать семь и пять. Может, градусник не так держим.

— И давно?

— С обеда.

Она поглядывала на меня умоляюще и кокетливо, я же смотрел в упор, серьезно, чтобы она не догадалась, как у меня зарождается неясное дурное предчувствие. Наконец она обратила внимание на мою скрытую сосредоточенность, дернула, сдвигая, разомкнувшийся на высокой груди ворот халата, поправила волосы, протерла ладонью глаза и виновато улыбнулась:

— Сколько нервов надо с этими детьми... Ужас прямо!

На лестничной площадке было натоптано — множество мокрых следов, снизу било весенней сыростью, и на запыленных стенах, исписанных и поцарапанных ребятней, покачивалась на сквозняке длинная паутина.

— Хорошо. Сейчас приду, — сказал я и поплелся в ванную, где принялся растирать холодной водой лицо, зачем-то чистить зубы и слишком усердно мыть руки.

В коридорчике я задержался у зеркала и стал рассматривать, поворачивая за подбородок из стороны в сторону, свое лицо с неопределенного цвета ресницами и такими же — ни светлыми, ни темными — бровями.

Бог знает что за физиономия! Ну, право: ни бородавки, ни тебе крупного, пусть и без горбинки, носа, складки какой или шрама. Не запоминаются такие обтекаемые портреты.

И пошлепал себя по щекам, разгоняя бледность.

Откуда эта «аристократичность»? Говорят, глубоко заложены сосуды. Или мало бываю на воздухе.

Медленно, очень медленно стаскивал я спортивный костюм, который по старой привычке носил дома вместо пижамы.

Получалось так, что все мои движения ничуть не совпадали с тем, что творилось у меня внутри: внешне тянул время, а подспудно поторапливался, суется и ощущая вкрадчивый стыд, — этажом выше больной ребенок, а я тут валандаюсь!

Неуютно на душе было, возможно, и потому, что меня оторвали от письменного стола: вот уже который месяц лежала на нем незавершенная работа о знахарстве и суевериях, и теперь я, с трудом вжившись в нее после рабочего дня, беспокоился, что не вернусь к рукописи в прежнем настроении.

— Ну что ты в самом деле! — корил я себя вполголо-

са (правда, дома никого не было, услышать никто не мог). — Очерствел, очерствел.

«Не возражаю. Пожалуй, это началось еще с тех пор, когда мы лопали пирожки в анатомичке, в перерывах между препарированием трупов...»

А и то! Я ведь замечал, что ассистенты, доценты, профессора — все, кто научно работает в клиниках, отличаются от практических врачей холодком академичности, они не столь суетны и не столь участливы... И еще эта бумажная работа, заказанная издательством и отнявшая время, сон, силы.

Жена не раз попрекала меня:

— Вбил себе в голову, что незаменим, нет незаменимых. Сколько на твоём участке детей? Свыше двух тысяч? И не потребуешь второго врача?

— Не дают, — отвечал я. — Ну что я поделаю?

— Но и продолжаться так дальше не может. Ты страшно устаешь.

— И пусть. Ты меня еще не знаешь!

— Да ты стал какой-то... сложноподчиненный, что ли. Я действительно не узнаю тебя. Оказывается, ты еще и тщеславен. Не каждый ведь сможет отречься от семьи ради того лишь, чтобы увидеть свою фамилию на обложке популярной брошюры.

— Напрасно мы связали судьбы...

— Еще бы! — вспыхивала она. Но уступчиво, с городской долей равенности уточняла: — И ты и я могли бы более выгодно устроиться в жизни.

Затем, так же неожиданно, мы примирялись, тыкались носами, целуясь, а теща кротко ахала и, закрыв лицо растопыренной пятерней, причитала:

— Боже, что за любовь!

Я охотно предавался воспоминаниям, потому что меня удерживало дурное предчувствие.

Застегнув наконец воротник рубахи и захватив самодельный фонендоскоп, прозванный сыном «слушкой», с

упругими светлыми каучуковыми трубками — его соорудил мне в подарок один благодарный отец, — я не спеша поднялся на третий этаж.

Ребенок лежал на большой кровати, завернутый в теплое с красными и голубыми полосками одеяло. Яркие рукоделия — наверное, бабкины — висели на этажерке, на стенах, тумбочке, обтягивали деревянные цветочники, в которых росли густые комнатные розы.

Большая рама в углу вмещала уйму пожелтевших семейных фотографий, выше ее была укреплена старая, уже без оклада, иконка божьей матери, а над ней внакид треугольем — шитый рушник.

«Работа, кажется, великолепна. Не знаешь, куда деться от этих страждущих глаз».

Я склонился над ребенком.

— Разверните его.

— Это она, — поспешно сказала бабка.

— Я всех детей называю в мужском роде — ребенок.

— Девочка это, — повторила старуха.

— Что ж, развернем и поглядим, кто здесь. И правда, барышня.

Я старался не поворачиваться в сторону матери, но искоса видел ее, чувствовал взгляд на себе. «Верит в меня. Или по другой причине так ласковы ее глаза?»

Когда встречались либо на улице, либо в подъезде, стеснительно уступая друг другу дорогу, мы неизменно обменивались улыбками: может, из вежливости, может, по другой причине, — хотя я замечал, что при муже она здоровается сдержаннее и улыбается одними глазами. Я пытался разобраться в самом себе, понять, отчего мне приятна ее потаенность, и в свою очередь, идя с женой, чуть кивал в ответ, и не притворялся — помимо воли так выходило.

Едва я прикоснулся к теплomu тельцу ребенка, как ощутил, что и нерешительность, и предчувствие неудачи

вмиг пропали, — так всегда было со мной, когда я принимался за лечение: не верилось, что не спасу. И мне везло.

Родительская похвала врачу часто выглядит льстиво.

— Хотя вы не покидайте нас, — приговаривали они. — Поселок дальний, до вас тут ни один врач дольше месяца не задерживался. А к вам уже привыкли. Вы такой обаятельный!

Теща, наслышанная о подобных разговорах, сетовала:

— У него только на работе и хватает терпения...

Как она не понимает, что быть круглые сутки среди больных почти невыносимо! А проживать врачу в коммунальном доме — это сплошное, пожизненное дежурство. К тому же в нашей семье ежедневно кто-нибудь болеет. Стоит мне перешагнуть порог и увидеть, что у тещи голова перевязана полотенцем — наискосок от подбородка на макушку, так, что большой узел демонстративно торчит сбоку на щеке, — настораживаюсь: «Опять чем-то недовольна?! Или на самом деле нездоровится ей?» В такие дни захлопываются двери в комнату, где они с дедом и нашим сыном, — это чтобы не мозолить нам, молодым, глаза.

Непосредственно ко мне ни теща, ни тесть не обращаются за помощью.

Жена выбирает удобный момент, просит:

— Ты можешь достать путевку в водолечебницу? Для мамы. Пускай попринимает хвойные или там жемчужные ванны, это ей не помешает.

В следующий раз она хлопочет уже об отце:

— Понимаешь, ему нужен желудочный сок, а в аптеках нету. Может, у вас там где есть?

Недели не проходило без таких или подобных просьб.

Не успел я переселиться в этот дом, как прослыл



незаурядным эскулапом: у девочки были судороги, а после моего лечения они пропали. Наверняка слухи о моем чародействе распространила ее мать — преподавательница математики в горном техникуме. Глаза у нее неподвижны, зато губы без конца шевелятся: она появляется во дворе под вечер и о чем-то толкует с женщинами. И о чем она толкует с домохозяйками, женами рабочих кожомбината? Ума не приложу. Я вот юркну в дом или выбегу из дому, кивну налево, кивну направо — и был таков. Все мне недосуг, все некогда... И завидую преподавательнице математики. И за это ненавижу себя, ибо наружность ее, все жесты, даже строй речи претят мне. Взгляд настороженный, она в постоянной тревоге, как бы чего не случилось с ее потомством, так бывает у женщин, когда они, намучившись бесплодием, в конце концов рожают детей. Но она-то не старая дева. Это у нее только вид такой в вышедшей из моды одежде.

Представляю, что будет, когда девочка подрастет и пойдет в школу, затем на свое первое свидание или надумает вдруг выскочить замуж!

Напуганность в глазах математички выглядит смешно еще и оттого, что нос у нее огромен. бугрист, точь-в-точь как у ее мамы — сверстницы моей тещи. Только та, в отличие от своей дочери, ходит не выпячивая грудь, неторопливо, сомкнув руки — пальцы в пальцы — на поясице, обернутой теплым платком поверх демисезонного пальто.

— Самая порядочная семья в нашем доме, — говорит о них моя теща. — Такие дружные, такие заботливые, чуткие, воспитанные. Чего стоит один только Петя. Прелесты!

Муж математички, Петр, обычно снует по двору туда-сюда, туда-сюда — без конца. И мне кажется, что его посылают в магазин за одним, а он приносит другое, бежит за другим — притащит третье.

Я знаю, куда гнет моя теща. Я ведь из-за нехватки времени даже хлеба не покупаю.

И жена Пети, и ее мать рассказывают во дворе, как они из этого деревенского парня сделали человека и сейчас учат заочно в химическом институте.

Все семейство здороваётся со мной после того случая с их девочкой подобострастно, а Петя — тот еще и раскланивается, но гордо, не теряя достоинства отца семейства, передовика производства и успевающего твердо заочного студента.

— Знаете, Сергей Александрович, — заговаривает со мной Петя подчеркнуто вежливо — у него изысканное произношение и изящный голос, — мне бы хоть сейчас дали путевку в Кисловодск, да Ясю нельзя оставлять на одних женщин. Они буквально теряются, когда она замирает.

Любой разговор Петя, как правило, начинает с этого вкрадчивого вступительного «знаете»:

— Знаете, Сергей Александрович, мне вот премию отвалили. — Петю вдруг смутило им же сказанное слово, и он покраснел. — Купили мы гарнитур. А жена хочет менять. Несказанно капризный народ эти женщины.

Я силюсь вникнуть в его слова, которые плавно и ладно переливаются из одного в другое, вижу утонченное лицо, гибкие жесты, не упускаю и его готовности вовремя упредить детские шалости и поражаюсь: неужели в нем были когда-нибудь деревенская кряжистость и грубоватая, даже наивная непосредственность?

Вот это работа над личностью! До полного стирания.

И все же иной раз прикидываю: может, мне как раз всего этого и не хватает, потому и зол в своих суждениях? Будет и со мной то же самое? Годик-два — и помашу ручкой, дядя!

Неужто произойдет? Ладно, проживем — увидим. Все-таки нас трое мужчин — тесть, я и сын. Будем, как говорится, сопротивляться...

Сам перед собой, как перед зеркалом, кривляюсь, юродствую. Ведь некогда, еще мальцами, мы были отрешенно свободны, пока не почувствовали родительскую власть... Ну как она, первозданная внутренняя свобода, может не пропасть, если над тобой постоянно довлеют условности, возведенные в нормы, правила, законы? Это как в массовке, когда ты должен подчеркивать массу, не себя. Иначе нарушишь единоустремленную общую картину. Голыши, все мы обкатанные голыши... Яркие индивидуальности предполагают яркие таланты, гениев... А мы — голыши! В институте наша группа боролась за то, чтобы все походили в поступках друг на друга. И мы были примерными. И нас хвалили. За что? За то, что мы были сходны, как голыши? Было так и после — уже на работе и в семье. Семья — это маленькая эгоистичная общинка. Петина? Моя, наверное, тоже. Обратная сторона общности.

Неправда, что ни о чем, кроме больного, не думаешь, склонившись над ним. И говорили, и читали об этом — лгут. Я вот и осматриваю и думаю. Невероятно, как все вмещается и совмещается во мне.

А ребенок все кричит.

Бабка и мать стараются забавить его, а я усмехаюсь:

— Пускай, да пусть. Даже лучше, когда кричит.

С каждым захлебом он делает глубокий вдох — взрослых и то не принудишь так хорошо дышать.

В одном боку — я слушал и фонендоскопом, и просто ухом (я люблю слушать ребятишек этим способом) — дыхание кажется жестковатым. А живот, как я ни мямлю, мягок и податлив.

«Отчего дети пахнут молоком? Даже подростки?»

Мне нравится, как пахнут дети. Это — чистый запах. И не удержусь, чтобы не потрогать за вихор. Чуть под-

растет, и на макушке уже хохлится протеста, что ли? Как раз на том месте у взрослых появляется плешь.

Я вытер лоб, выпрямил плечи. Сердце колотилось громко и отчаянно, словно бежал на короткую дистанцию.

— Начнется воспаление легких, — сказал я и выждал некоторое время, чтобы они вникли в опасный смысл сказанного. — Нужно в больницу. Не мой участок, больничный не могу выдать, — стал я поспешно подкреплять свои доводы, предвидя несогласие да и понимая, что в больнице ребятам лежать хуже, чем дома.

Мы редко учитываем при этом психику детей. Каждого ребенка в отдельности. А он — индивидуальность, и нужно ее придерживаться всем, но есть и психика, требующая в каждом случае особого подхода или исключения. С детьми труднее, чем со взрослыми, — их не убедишь, если они почувствовали недоверие.

— Разве дело в больничном, — сказал отец с вызовом. — У нас есть кому присмотреть. В крайнем случае возьмем отпуск без содержания. Дадут, куда денутся.

Я замялся.

— Нет, я не могу взять на себя такую ответственность. От ребенка нельзя отходить. А в больнице все рядом. Вдруг что — и врач, и лекарства... Дети — как пламя свечи!

Как же я противно говорю! Что за слова? Откуда они во мне?

— Завтра, если что, — неуверенно произносит мать, поглядывая на мужа. — Хотя бы переночует дома.

Вновь подкатило сомнение и предчувствие какой-то обреченности. Я даже ощутил, как оно подкатило: холодно в животе сделалось и сердце защемило. Сбивчиво советую, что сделать и дать сегодня, однако настаиваю на прежнем: только в больницу!

— Обязательно, — соглашается мать, делаясь сухова-

то учтивой, сдержанной. — Спасибо, извините за беспокойство.

Что же она думает обо мне? Кажется, выгляжу тухлой, нерешительным и неуверенным.

Теперь-то она не улыбнется при встрече, как бывало прежде. Да и мне, пожалуй, не ответить такой же взаимностью, какая проскальзывала в наших взглядах.

— А в больнице какой прок? Там уколами заколют, — вдруг тихо роняет бабка, так тихо, словно бы не мне говорит, а размышляет вслух. Но вид у нее независимый, даже непрístupный.

А отец — ни слова. Он молча выпроваживает меня, но дверь все же не закрывает, ждет, пока спущусь на свою площадку. Вышколенный клопец!

Он репатрирован из Аргентины, и здесь его никто не называет украинцем или русским, все говорят — аргентинец. Обидно, должно быть: на землю пращуров-то возвратился!

Да он, впрочем, и сам дает повод.

— У нас ведь как было? — рассуждал он. — Я, скажем, слесарь. На одну зарплату мог купить три пары туфель и костюм впридачу. Правда, в костюме-то будешь хорошо ходить, да в животе пусто.

Говорит он с акцентом, коверкая русские слова: родился-то он в Аргентине. Да и вырос там.

Я пытаюсь представить эту страну, но все заслоняется выцветшим знойным небом и зыбучими песками, каких я насмотрелся в аргентинских фильмах.

На лестничной площадке я столкнулся с одноногим соседом — дядей Борей. Поздоровавшись и обменявшись традиционной соседской улыбкой, подождал, пока он, громяхая костылями, взобрался на порог. Я недолюбливал его — сам не знаю за что. Однако ни разу даже взглядом не выдал своих чувств. Мы ведь соседи, и у нас

общая лестничная площадка. Теща в шутку называет его своим любовником. Они часами просиживают у входа в наш подъезд. Ведут неторопливый разговор и щелкают семечки, купленные по десять копеек за стакан на углу возле продовольственного магазина. Летом, когда ветер, возле магазина перекачивается разный бумажный хлам, и в нем сухо шуршит пыль. Говорят, что бабка-торговка, перед тем как нести семечки на продажу, греет на них, пока они еще горячие, свой застарелый радикулит.

Дядя Боря покупает для нас яйца, молоко, мясо. И все без очереди. И теща обожает его.

— Он безобидный, — смеется она. — Глупый, правда. Но — как ребенок.

Закрывшись дома, дядя Боря размеренно колотит в нашу стену, как раз в ту, на которой висит у нас морской пейзаж в коричневой, полированной раме и у которой стоит наша тахта. От ударов море колышется вместе с рамкой, а мы просыпаемся чуть свет и прислушиваемся к возне за стеной. И я, с опаской поглядывая, выискиваю на стене следы гвоздевых выходов. Но дом крепок, весь из бетонированных блоков. Блок сверху, блок снизу, блоки и с боков, — словом, надежно заблокированы.

Однажды я не выдержал непрерывного стука и спросил дядю Борю, что он делает.

— Я всего один в-о-з-д-и-к забил, — ответил дядя Боря и виновато улыбнулся. Картавит он страшно, но я уж привык, и меня не раздражает его голос.

Ребятня со всего двора собирается у скамейки, на которой между зажатыми под мышками костылями восседает дядя Боря. Приоткрыв рты и время от времени шмыгая носами, дети слушают рассказы о том, как дядя воевал, «омил» фашиста и как в самую ногу «уодила» бомба о десяти фунтов. Они даже не подозревают, что дядя Боря на войне не был, а ранило его при бомбежке во время переправы эвакуируемого населения через Дон.

Придумывает он искусно, и дети любят его. Но картавости не прощают и кличут его «дядей Бозэй». Так и прилипло к нему во дворе это самое «Боа». И даже взрослые, забывшись, зовут его Боа. Наш Боа, спросите Боу, обратитесь к Бозэ.

Рано поутру дядя Боря развешивает во дворе на бельевых веревках множество меховых шкур. И я теперь догадываюсь, даже уверен, что гвозди он забивает для того, чтобы по ночам растягивать на них наполовину выделанные кожи. Доведя обработку до конца, он тащит их на толкучку.

Как-то я побывал на этой толкучке. Купил хорьковый мех, и теперь у меня шалевый воротник, и я, если бы была пролетка, выглядел бы земским врачом.

Снег вьюжил по утрамбованному насту, засыпал лежащие на мешковине сорговые веники, набивался в спирали самодельных огромных электроплит, намет тянулся вдоль всего ряда, в котором, располагаясь впритык цепью, лежало разное сбываемое с рук: блестящие медные краны, уворованные на стройке (в магазине их не достать), классики, стянутые в комплекты шпагатом, и старые учебники, топоры, пилы, наборы столярных инструментов, дерматин, битые валенки, гайки. И среди всего этого я отыскал хорьковые шкурки. Добрая бабушечка дешево отдала их. Прислали, говорит, родственники из-за границы, а за сколько продать — не написали. Хай им грець!

Рядом с нею топталась другая старушонка. Она выглядывала из-за квадратного листа шпалеры, который растягивала впереди себя и на котором были нарисованы возлежащая на зеленом косогоре русалка и голубь с конвертом в клюве. Старушка зазывала покупателей, припечатывая каждый выкрик дробной чечеткой:

— Шедевр для спальни! Шедевр для спальни!

Я уже купил своих хорьков, был в хорошем настроении и спросил ее:

— А что на нем изображено?

— Как что? — растерялась она и притихла. И тут же, уловив в моих глазах насмешку, взорвалась: — Разве не видно? Несет у зубе! И все ей!

Смеясь, я отвернулся и в тот же миг нос к носу столкнулся с нашим соседом. Нос у дяди Бори был сизим от мороза и неестественно увеличенным, пауха отдувалась — она была набита меховыми шкурками.

Боря многозначительно уставился на меня, затем приветственно кивнул и сказал:

— Холодно.

— Не жарко, — согласился я.

На том и расстались.

Возвращаясь с толкучки, дядя Боря устало выбрасывает, опираясь на костыли, единственную ногу, зыркает исподлобья большими грустными глазами и говорит моей теще:

— С работы. Еле ноги волоку.

Он останавливается, передыхает, вытирая рукавом взмокший лоб.

Теща умеет обо всем этом рассказывать впоследствии смешно, детально, копируя и интонацию, и картузность.

— Это же любовь моя, Боа! — восклицает она.

Боа уже распахнул дверь, но все еще чего-то мешкал у порога. Порог был высок, и мне подумалось, что ему трудно его перешагнуть.

— Вам помочь? — спросил я.

Боа поморщился так, будто я нелепицу какую-то сказал. Отмахнулся:

— Не-е, я сам.

Он переложил из руки в руку костыли, посопел, вздыхал.



Едва я потянулся нажать кнопку звонка, как Боа вкрадчиво окликнул:

— Алексаныч...— Глаза его, большие, черные, были печальными.— Вам уже звонили.

Я непонимающе взглянул на белую кнопку звонка у нашей двери, на свой вытянутый палец, который застыл в каких-то миллиметрах от кнопки. «Что за чушь? Мне входить, мне и звонить. Кто это мог за меня сделать?»

— Вам приятель звонил... Спортсмен...— безмятежно продолжал Боа.— Он сказал, что завтра перезвонит.

Бог ты мой, я совершенно выпустил из виду, что у Бои есть телефон и нам по нему иногда звонят друзья-приятели. Жена еще распекала, что не похлопочу: «Врач,— и телефона не установят. А вдруг что срочное?» Но при чем тут спортсмен? Его ведь давным-давно нет в городе. Откуда он снова вынырнул? И зачем? А, наверное, на соревнования прикатил.

— А когда именно? — нехотя переспросил я.

— Он на вторую половину дня перенес заказ. Междугородка теперь капризная — весна на них, что ли, действует?

«Значит, он за пределами города... Это уже легче».

— А откуда ему известен ваш телефон?

— Как же?! — изумился Боа неподражаемо, и я в его лице не уловил и тени насмешки.— С вашей супругой они сколько раз переговаривались. Разве жалко? Звонитесь. Всегда пожалуйста. Я думаю, власть тут неправильно поступают. Таким, как вы, в первую очередь надо все удобства предоставлять. Вы же спасители человеческие! И вам без телефона никак нельзя.

— Чего же вы не позвали жену?

— А он только с вами желал разговаривать... И завтра перезвонит.

— Ну, спасибо...

Я чуть не добавил всегдашнюю свою шутиливую при-